**Димитр Димов** **Карнавал**

После скучного бала остаток ночи мы провели в доме моего приятеля Б., где всегда собиралось общество, лишенное иллюзий. Нас было человек десять мужчин самого разного возраста – холодных, циничных и образованных, стряхнувших с себя всякую сентиментальность и полных иронического презрения ко всему, что не было частью нашего общего «я». Мы были преотвратительные мыслящие существа. В поздний час хозяин открыл сокровища своего бара – коллекцию разнообразных восхитительных напитков. Мы начали с виски, раскритиковали несколько сортов коньяка и перешли к ликерам, а тем временем у нас все больше развязывались языки. Светские сплетни повели нас от частных примеров человеческой глупости к более отвлеченным рассуждениям. И, может быть, оттого, что жизнь давно высушила наши сердца, мы затеяли дискуссию о любви. Мы рассказывали случаи из своей жизни, цитировали изречения мудрецов, ссылались па статистику, приводили в пример преступления и факты из области патологии, и все это высказывалось с немалой долей снобизма и предубеждения. Можно было подумать, что собрались помешанные, если бы каждый из собеседников верил хотя бы в десятую часть того, что говорил.

– Не люблю сентиментальщины, – сказал доктор X., стряхивая пепел с отворота фрака, – ненавижу умильные вздохи, копание в воспоминаниях, эти пошлые ассоциации между запахом цветущего боярышника и белым платьем какой-нибудь девственницы. Дух старится вместе с телом, и всякий сентиментальный возврат к прошлому похож на инфантильность. История, которую вы услышите, не подернутое грустью воспоминание. Она извлечена из жизненного опыта, это тема, которую я ставлю на обсуждение. Ведь мы ищем истину, не так ли?

Это случилось в те времена, когда женщины носили сложные прически и блузки с буфами на рукавах, а об элегантности мужчины судили по его бороде, рединготу, но крахмальным манжетам и трости с набалдашником из слоновой кости. Смешно, не правда ли? Но некогда я представлял собой именно такую карикатуру и прослыл неотразимым. Профессия давала мне возможность вращаться в высшем обществе, жить на широкую ногу, держать экипаж, слугу, холостяцкую квартиру… одним словом, я отвечал всем требованиям тогдашней моды. Среди прочего я состоял домашним врачом в одной семье, где были две сестры. Младшая – в сущности, только она представляла интерес – сочетала физическую привлекательность кокотки с почтенным именем своего отца. Она была не глупа, даже считалась особой мыслящей и с таким же увлечением читала Франси де Круасе, с каким теперь читают Де-кобра. С нею приятно было бы завести интрижку. Короче, она могла бы жить так, как требовал ее темперамент, и быть счастлива, но увы… легкие этого великолепного создания были изъедены туберкулезом! Это было известно только мне, и я, разумеется, хранил тайну, выполняя свой профессиональный долг. Не знаю, могла ли быть у женщины двадцати трех лет более горькая тайна, более безнадежная молодость! Ее звали Ани. Она выросла в богатой семье, воспитывалась в знаменитом колледже, жизнь уготовила ей роскошь, довольство и наслаждения, и все-таки она должна была умереть… Не могу себе представить ничего нелепее такой судьбы! Я встречал бедняков с отличным здоровьем, бодрых и крепких, столь же бессмысленно раздавленных жестокой нищетой.

Иногда я заставал Ани одну. Она принимала меня в своей комнате среди разбросанных книг и граммофонных пластинок с модными песенками. Ее игривые синие глаза смотрели на меня с горькой усмешкой, словно говорили: «Разве это не возмутительно? Я люблю жизнь, как никто на свете, а смерть так подло подстерегает меня…» Она провела долгие годы в знаменитых санаториях, до некоторой степени соблюдала режим, и недуг еще не бросил на ее лицо безобразную желтоватую тень смерти. Только глаза горели огнем постоянной лихорадки и смотрели с какой-то прозрачной, трепетной ясностью. Постепенно я стал замечать, что она ко мне неравнодушна. Когда я приходил, она своим поведением, тонким, лукавым кокетством давала мне понять, что я ей нравлюсь. Она принимала меня всегда с улыбкой, блестящая, элегантная, и остроумно подтрунивала надо мной, делая вид, что не сомневается в своем выздоровлении. Может быть, вы подумаете, что я отвечал ей взаимностью? Ничего подобного! Я был влюблен в Елену, старшую сестру, похожую на Елену троянскую – греческий профиль, тяжелые золотые волосы, царственные движения и такой же свободный нрав. Она развелась с мужем – незаметным архитектором – и теперь искала другого супруга, с более солидным положением в обществе. Но, ухаживая за Еленой, я видел все яснее, что больная Ани любит меня – то была подавленная безнадежная страсть, зревшая в глубине ее источенной недугом груди. У нее было поистине прекрасное тело, она была мила и пикантна, но я испытывал к ней легкое отвращение, отвращение, какое мы испытываем к трупу.

Однажды в пасмурный зимний день Ани вызвала меня к себе по телефону. Я пришел и застал ее одну перед камином. Пылающий огонь озарял ее лицо красноватым светом. Она была в красивом длинном платье из черного бархата, с белыми хризантемами на плече. Ее белокурые волосы изысканно контрастировали с одеждой, с тяжелыми золотыми браслетами на руках. На столике перед камином стояла бутылка ликера, рядом лежала пачка сигарет, Я ничуть не удивился – Ани всегда устраивала мне тонный прием. Но в ее более громком, чем обычно, голосе, в подчеркнутой небрежности движений я уловил женскую стыдливость, которая старалась переломить себя и обернуться самоуверенностью. Я предугадал ее поступок – рефлекс уходящей жизни. Она сказала, что у нее бронхит, но, в сущности, никакого бронхита у нее не было. Затем сообщила, что родители и сестра уехали в Вену. Наконец – и черт подери, на это способна только женщина, которая дошла до полного отчаяния, – она заявила, что любит меня и готова стать моей любовницей. Она произнесла это сдавленным голосом, покраснев до корней волос. Потом отвернулась и закрыла глаза рукой, словно вдруг поняла, как низко пала.

Мне стало жаль ее. Она была похожа на несчастное больное дитя. Я понимал, что совершу преступление, если даже из сострадания сделаю эту девушку своей любовницей, – любовницей, которая будет мучиться и ревновать, соперничая со здоровыми и сильными женщинами – ведь они станут оспаривать у нее добычу, брошенную ей как подачка. Нет, я не хотел отнимать таким образом остаток ее здоровья! Я подошел к бедняжке и, гладя ее волосы, стал убеждать ее, что она действительно достойна любви, по что мы встретились слишком поздно и сердце мое уже занято. Эти жалкие слова вызвали у нее горькую улыбку. Не сознавала ли она мучительней, чем когда-либо, уродство своей болезни? Не догадывалась ли, что в душе я ей только сочувствую? Это я-то, распущенный светский человек, вдруг заговорил о своей верности какой-то любимой! Одним романом больше – имело ли это для меня значение? Разве я был так уж добродетелен? Не спасался ли я, в сущности, от заразы, от ее изъеденных легких, от этого запаха тлена, который издавала ее грудь? И она разразилась безудержными рыданиями.

Тогда я подумал о ее жалкой, несчастной жизни, о болезни, которая точила ей грудь с детства. С самого нежного возраста она была вынуждена обнажаться перед врачами, которые обстукивали ее, прослушивали, просматривали через свои аппараты. И это раздевание под мужскими взглядами действовало на нее страшно, деморализующе, медленно убивало в ней чувство естественной стыдливости, женскую гордость, которая теперь не удержала ее от унизительного признания. Я вспомнил дорогие швейцарские санатории, эти роскошные преддверия смерти, где снег, солнце и усиленное питание возбуждали ее плоть и где она мучилась от одиночества, снедаемая мечтами о любви… Я подумал и о ее теперешнем положении. Ее недуг сохранялся в тайне, но, в сущности, это был секрет полишинеля, и молодые мужчины избегали ее, как прокаженную.

– Я потеряла стыд, потеряла стыд, – прошептала она тихо, овладев собою.

– Ани, – сказал я, – вы очаровательная, милая девушка.

– Уличная девка, которая сама предлагает себя.

В ее словах было столько горечи, что я пожалел ее больше, чем последнюю, самую убогую проститутку. И пожалуй, бывают такие минуты, когда сострадание равносильно любви, потому что я сказал вполне искренне:

– Ани, клянусь, если б я встретил вас годом раньше, если бы…

– Если бы не моя сестра, – бросила она резко и.

молчав, добавила: – Что ж, она великолепное здоровое животное.

– Но вы поправитесь и будете такой же здоровой.

– Так обманывают детей: я знаю, что умру. На меня потрачено столько денег, а болезнь берет свое… Я просто бесполезная заразная рухлядь, которой все брезгуют… Да, это так. Я взяла от жизни мало, ничтожно мало. В санатории режим и обязательное целомудрие доводили меня до белого каления. Ночью, вместо того чтобы спать, я курила и читала романы, а на рассвете открывала окно, чтобы сестра не догадалась. Там я завела любовника, одного англичанина, болвана, такого же больного, как я… Глупо, не правда ли? Но нет ничего отвратительней одиночества. Я поступала так потому, что любила жизнь, удовольствия…

Она улыбнулась и прибавила с горькой нежностью:

– Так же, как вы!..

Затем по примеру всех несчастных людей, которые ищут смысла и в величайшей бессмыслице, она принялась искать сомнительное наслаждение в своей болезни. Она сказала, что удовольствия жизни обретают полную силу, только когда над ними нависает смерть… Это открытие она сделала со своим любовником-англичанином. Может быть, я никогда ее не пойму. Иногда ей доставляет странное удовольствие думать о смерти, о гробе, о червях, которые будут глодать ее тело. И маленькие радости жизни приобретают тогда особую ценность.

Она говорила медленно, уверенно, словно это рассуждал философ. Ее белокурая головка все так *же*  таинственно озарялась пламенем камина. Потом вдруг, как самоубийца, который потянулся за ядом, она взяла со столика сигарету. В это мгновение было бы величайшей жестокостью отнять у нее сигарету, подчеркнуть ее болезнь. Я этого не сделал, даже напротив, поднес ей огонь.

– Спасибо, – сказала она. И жадно глотнула табачный дым. – Вы любите удовольствия, и потому вы человечны. Другой на вашем месте осыпал бы меня упреками, замучил нравоучениями… Куда разумней жить один месяц полнокровной жизнью, чем пять лет таскаться по санаториям.

Она продолжала глотать табачный дым и рассуждать с болезненной логикой несчастного, отверженного существа. Докурив сигарету, она выпила несколько рюмок ликера подряд и села на диван среди подушек. От алкоголя ее глаза заблестели жадным, тоскливым, почти злым блеском. Ее руки выделялись на черном бархате платья мертвенной белизной, трагически выразительной, подчеркнутой накрашенными ногтями и браслетами. Потом, возможно вспомнив свой опыт с англичанином, она, уверенная в своей таинственной силе, в обаянии боли и страдания, улыбнулась и похлопала по дивану, приглашая меня сесть рядом, Я подчинился. Сострадание – даю вам слово, в первый миг только оно – заставило меня ее обнять. Мне показалось, будто я держу в руках роскошный спелый плод, источенный червями. Потом я почувствовал скорбный пламень ее тела, который проник в мое. И неожиданно подумал, что Ани гораздо чувственней, чем ее сестра, и гораздо желанней. Это ощущение вспыхнуло и потухло в путанице мыслей. В следующий миг, однако, вернулось знакомое легкое отвращение. От ее волос пахло тонкими духами, каким-то особым экстрактом, предназначенным для обольщения и часов любви. Но к этому благоуханию вдруг примешался – действительно или мне так показалось – слабый противный запах, запах разложения. И тогда ее духи показались мне благовониями, которыми мажут тела покойников, чтобы заглушить запах смерти. Но я не выпускал ее из объятий. Отвращение постепенно исчезало. Я потянулся к ее губам, но она отклонилась, чтобы уберечь меня от опасного поцелуя. В этом жесте была такая человечность, такое самоотречение… Бедняжка, она боялась меня заразить. В страсти этого осужденного на гибель существа была особая притягательная сила, что-то тоскливое и пронзительное, как грусть солнечного дня поздней осенью, когда цветы кажутся ярче оттого, что зелень умирает.

Но почему я ее желал? Отчего мне так захотелось покрыть ее лицо поцелуями? Может быть, этот внезапный порыв объяснялся просто состраданием к Ани, уже бессознательным? Мы сочувствуем, когда любим, и начинаем любить, когда способны к сочувствию. Может быть, я желал ее, как пожелал бы любую другую женщину, столь же красивую и соблазнительную? Может быть, наконец, я был взволнован оттого, что во мне уже поселилась тяга к покою, которую жизнь незаметно откладывает в нашем сознании. Светская среда, постоянное напряжение, тщеславная жажда одерживать верх, безумная погоня за новыми успехами, новыми удовольствиями – не породило ли все это скрытую усталость, неосознанное стремление к покою мертвецов? А несчастная Ани, изгнанная с пиршества жизни, шла к этому покою. Не привлекала ли она меня именно этим, и не был ли я трагической фигурой, пожелавшей добровольно участвовать в ее последней любовной игре, в ее danse macabre?[1]

Или же, черт побери, во всем, что я испытывал, проглядывала тайная связь между любовью и смертью, – связь, которую у меня, пресыщенного светского человека, здоровый инстинкт не мог разорвать, та самая, что заставляет примитивные натуры убивать из ревности, а психопатов находить в убийстве сладострастие. Почему же меня так тянуло к Ани? Не был ли потенциальным психопатом и я? Разве мне не было известно, что у каждого нравственного человека в подсознании существуют в зародыше всевозможные извращения, ассоциации и комплексы, которые в известную минуту могут вылезти на поверхность и завладеть чувствами, оскорбляя разум и достоинство? И все-таки возможно и такое? Ах… вот до какой степени мой ум был развращен учением одного тогда еще молодого венского психиатра, – учением, к которому я относился скорей с цинизмом светского человека, чем с трезвостью и критичностью врача.

Но в ту минуту – и такие ужасные откровения редко приподнимают завесу нашего подсознания – я понял ясно, с отвратительной ясностью, что Ани привлекает меня своей близкой смертью, своей источенной грудью, болезненностью своей тоскливой страсти ко мне. Именно это придавало щемящую соблазнительность ее лицу, этим накрашенным губам и мертвенным рукам в браслетах. Она была похожа на водяную лилию, прозрачный больной цветок, выросший среди миазмов. Напрасно мой ум, привыкший мыслить аналитически, рассекая исследуемое на мельчайшие части, пытался проникнуть в это смятение чувств. Напрасно я уверял себя, что, будь Ани здоровой и жизнерадостной, она привлекала бы меня точно так же. Стоило мне представить себе Ани вне связи со смертью, со страданиями и тоской, как магнетизм ее личности исчезал. И тогда я понял, что есть тайны, есть движения чувств и воли, которые неподвластны разуму, ибо они связаны с тайной самой жизни… Итак, я продолжал держать ее в руках, цепенея от страсти, чувствуя напор темной и жестокой силы, с какой ее тело влекло меня. И тут – этот миг раньше. В то время автомобиль все еще был опасным нововведением. Пока экипажи медленно подкатывали к подъезду, я поправил цилиндр, перчатки и хризантему в бутоньерке фрака. Затем я вошел, раскланиваясь направо и налево с небрежной элегантностью, переговариваясь со знакомыми или с шутливым нахальством раскрывая инкогнито масок. В те времена не было нынешних роскошных зал, но зато публика была избранная, а костюмы – самые изысканные. Яркий свет щедро заливал всю эту театральную феерию – домино, трубадуров, красные формы гвардейских офицеров, белоснежные жилеты и фраки бонвиванов или серьезных господ, которые приехали, сопровождая сестру, дочь или супругу. Сверкали драгоценности, шуршали платья, оркестр играл польки и кадрили, и под их мелодии распорядитель танцев с комичной торжественностью давал команды танцующим. И я двигался вместе с этой толпой, осыпанной золотой пылью человеческого тщеславия, шел под дождем конфетти, среди летящих лент серпантина, которые старались запутать меня в сетях старых и авансах новых флиртов. Я улыбался улыбкой сатира и отвечал на все заигрывания, не обращая, однако, ни на одно серьезного внимания. Затаив дух, я напряженно искал глазами белокурую женщину в черном испанском костюме, и сладостные образы пробегали в моем сознании. И наконец я ее нашел! Она возникла передо мной совершенно неожиданно, непонятно откуда, в черной бархатной маске и мантилье, которая не могла скрыть совсем ее роскошных белокурых волос. По костюму, по синим глазам, по очертаниям губ и прекрасному овалу подбородка я узнал Елену – обольстительную самку в этой карнавальной ночи. На слова любви, которыми я ее осыпал, она отвечала немыми ласковыми движениями, упорным и таинственным молчанием, но зато ее жесты были такими милыми, такими обещающими!.. Мы танцевали без передышки, и она льнула к моему плечу и глядела на меня тем милым изучающим взглядом, каким иногда женщины оценивают своих любовников. Только время от времени ее губы кривились в горькой усмешке, словно она хотела подчеркнуть, что у меня не должно быть никаких иллюзий, что приключение будет длиться только одну ночь и на другой день должно быть забыто. Мы безумствовали, мы танцевали без устали, упиваясь теми давно забытыми вальсами, польками и кадрилями, которые теперь прозвучат разве только в заунывных звуках шарманки или на истертой пластинке допотопного граммофона. И если когда-либо мне случалось быть на вершине успеха, блистая элегантностью и остроумием, так это в тот вечер, среди неистового веселья карнавала, под нестихающие танцевальные ритмы, среди этих безумствующих масок, которые на несколько часов прикрыли маскарадными костюмами трагедии жизни.

После этого фиакр отвез нас ко мне на квартиру. Ночь была теплая, в небе мерцали звезды. Дул южный ветер, растапливая снег и разнося первые будоражащие веяния весны. У входа в дом она немым движением руки заставила меня пообещать, что я не коснусь ее маски. Я обещал с иронической улыбкой, которой она как будто не заметила. Циничный любовник во мне еще раз посмеялся над глупостью и нахальством женщин. Неужто она в самом деле была уверена, что я не знаю, кого привез к себе на квартиру? Или для нее взаимное притворство было равносильно правде? Но мы провели упоительную ночь, ночь, которая опустошает, которая сжигает молодость дотла. На рассвете она ушла, совсем одна, под порывами южного ветра, под песню водосточных труб. Она не позволила проводить себя даже до стоянки фаэтонов, до ближней улицы. И тогда, забыв комедию ее притворства, я подумал, что в любовной прихоти этой женщины, в ее молчании, в ее личности есть что-то таинственное, недоступное, чего я раньше в ней не подозревал.

После этого я часто видел Елену, но больше она меня не волновала. Впрочем, это банальная развязка всякой любовной интриги, судьба увлечений всех развратников. Да и сама Елена, видимо, не желала вспоминать о карнавале. И я незаметно ее забыл.

Забыл я и Ани, которая умерла в одну из дождливых майских ночей, когда воздух насыщен запахом мокрой земли, а цветы благоухают во всю свою силу. К воспалению легких, которое ее свалило, добавились и каверны. Комнату наполнило нестерпимое зловоние. И этот запах разлагающегося трупа смешивался с благоуханием цветов из распахнутого окна. За несколько минут до ее кончины я видел ее глаза – лазурный взгляд, в котором блеснула сначала горечь, а потом нежность и странная, насмешливая улыбка. И вдруг глаза ее расширились, взгляд померк. Она поняла, что умирает. Глаза ее застыли, выражая ужас и страдание, и стали стеклепеть. То были глаза существа, которое смерть вырывала из жестокой и сладостной спазмы жизни, глаза, которые, подобно тысячам других, не знали, зачем жили и куда уходят.

Я встретил Елену через пятнадцать лет на балу, где саксофоны и ударные заменили нежный оркестр той далекой забытой ночи. После долгого отсутствия она снова появилась в Софии с мужем – каким-то иностранцем. Цепочка общих знакомых свела нас в одной компании, и мы поговорили о прошлом. Елена была все еще хороша и привлекательна, хотя явно сохранилась благодаря спорту, массажам и диете. В красоте ее появилось что-то пустое и пресное – печать лет, прожитых в скуке. Это была просто сохранившаяся блондинка. Я пригласил ее танцевать – в пятьдесят лет мужчина соблюдает протокол с особой тщательностью – и стал развлекать банальными остротами.

– Знаете, – сказала она внезапно, – вы ничуть не постарели!

– Стараюсь, – признался я скромно.

– И я тоже, – подхватила она весело. – Смешно, но зато и героично!

Наши взгляды встретились. Ее глаза смеялись – ласковые, синие и золотистые, – глаза сохранившейся блондинки, которые все еще искали любви. Но помилуйте, любовь в эти годы!.. Запоздалые цветы поздней осени! Я уже был безнадежный старый холостяк.

– Сударыня, – сказал я ей, – боюсь, что теперь это только смешно.

Веки ее быстро замигали.

– Вы мстите мне за прошлое?

– Напротив, я думаю о том, как это было прекрасно.

– Вы говорите о прошлом?

– Нет, именно о вас.

– Но вас никогда не удовлетворяли платонические отношения!

– Именно поэтому.

Она посмотрела на меня ласково, удивленно, потом вдруг насмешливо:

. – Дорогой мой, я не допускаю, чтобы одному из нас так рано изменила память.

– А я в этом уверен, – сказал я весело.

Зачем бежать от милого, сладкого воспоминания молодости? Вечное жестокое лицемерие!

– Елена, – сказал я взволнованно. – Неужели вы не вспоминаете карнавал в 19… году, фиакр, мою квартиру… ночь, которую мы провели в наслаждениях?

– Вы очень милы, – сказала она грустно, – но здесь какое-то недоразумение. Я не помню ничего подобного. С другими, да, но с вами… Честное слово!

Она пожала плечами. В ее глазах не было и следа притворства. Черт побери, она не лгала… Или уж окончательно поглупела!

– Тогда, – сказал я горько, – наверное, вы вспомните черный испанский костюм с мантильей. Женщины могут забыть что угодно, только не свои платья.

– Вы правы… Но я никогда не надевала такого костюма. Или нет, постойте!

– Ах… Наконец-то!

Я ожидал, что она оживится, но вместо этого лицо ее исказилось от ужаса.

– Боже мой!..· – прошептала она. – Да ведь это костюм, в котором Ани ездила на бал незадолго до смерти!

Я хотел сказать что-то, но волнение сжало мне горло. Саксофоны завывали, ударники отбивали такт, а я ощущал запах разлагающегося трупа с примесью аромата цветов, я видел лазурный взгляд женщины, которую держал в своих объятиях, – роскошный цветок, растоптанный на пиршестве жизни.

[1] Пляска смерти *(франц.).*